



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Геннадий ЕВГРАФОВ

ИСХОД

В XX веке в России было четыре волны эмиграции. Пишу об эмигрантах первой волны: почитаемых мною Мережковских и Тэффи, любимых Ходасевиче, Шкловском (разумеется, были Бунин, Куприн, Цветаева и другие, но о них, может быть, в другой раз). Которые уезжали не за материальными благами, а за свободой — свободой думать, говорить, писать.

Дороги и судьбы сложились по-разному.

Idée fixe вождя (власть с слово)

25—26 октября (7—8 ноября) большевики взяли власть легко и просто, как пьяную распутную девку, валявшуюся в пыли на дороге.

На третий день (!) переворота, 27 октября (9 ноября) 1917 года, Совет Народных Комиссаров принимает декрет «О печати» — один из первых декретов советской власти (заметьте: декрет «Об образовании ВЧК» принимается 7 (20) декабря).

Все декреты — о мире, земле и так далее — подписывает Председатель Совнаркома Владимир Ульянов (Ленин).

28 октября (10 ноября) декрет публикуется в «Газете Временного рабочего и крестьянского правительства», «Известиях», «Правде».

«В тяжкий решительный *час переворота* и дней, непосредственно за ним следующих, — говорилось в декрете (обращаю внимание на слова „*час переворота*“) — Военно-

Геннадий Евграфов — член Комитета московских литераторов. Публиковался в Советском Союзе, России, Франции, Германии и Австрии. Автор эссе о поэтах и писателях Серебряного века: Аделаиде Герцык, Надежде Тэффи, Александре Блоке, Иване Бунине, Василии Розанове и др. Лауреат премии журнала «Огонек» за 1989 год. В 1986—1989 годах — один из организаторов и редакторов редакционно-издательской экспериментальной группы «Весть», возглавляемой Вениамином Кавериным. Составитель, редактор, автор предисловий и комментариев к книгам Зинаиды Гиппиус, Василия Розанова, Андрея Белого, Евгения Шварца, Григория Бакланова, Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Венедикта Ерофеева, к собранию сочинений Сергея Есенина и др., выходящим в издательствах «Аграф», «Вагриус», «Время», «Прозаик», «Текст», «Терра» и др.

Революционный Комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков». И далее, заглушая «крики о том, что новая социалистическая власть нарушила, таким образом, основной принцип своей программы, посягнув на свободу печати», Совнарком (пока еще) объясняет, что «закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому Правительству, 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно-наказуемого характера». И подчеркивает, что «настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни»¹.

Большевики торопились, за два дня до вступления закона в силу Военно-революционный комитет за контрреволюционную, клеветническую агитацию против Октябрьской революции запретил «Новое время», «День», «Речь», «Живое слово», «Биржевые ведомости» и другие газеты и журналы.

Всем недовольным заткнули рот, ибо, по сути, декрет означал введение новой — советской — цензуры, вся российская пресса была объявлена «буржуазной» и поставлена вне закона. Что немедленно привело к закрытию типографий, где печатались тысячи «вредных» демократических газет и литературных изданий, и говорит об отношении режима к слову.

4 (17) ноября на одном из первых заседаний ВЦИКа депутаты обсуждали предложение экономиста Юрия Ларина об отмене декрета о печати. За отмену выступили и левые эсеры Андрей Колегаев и Владимир Карелин. Энергично жестикулируя, Ленин бросал в зал: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом»².

Это была *idée fixe* вождя — установить монополию на слово.

Большинство членов ВЦИК, в который входили не только левые эсеры, но и меньшевики, и интернационалисты, и украинские социалисты, все же составляли большевики — они поддержали своего вождя, сочли, что «восстановление так наз. „свободы печати“, т. о. простое возвращение типографий и бумаги капиталистам-отравителям народного сознания, явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала»³, и держались стойко, позиции рабочего класса не сдали, и декрет отменен не был.

Против произвола возвысила свой голос старая русская интеллигенция. 26 ноября 1917 года Союз русских писателей в спешном порядке выпустил однодневную «Газету-протест. В защиту свободы печати» с сообщением о намечающемся на Невском, 48 митинге, в котором должны принять участие Дмитрий Мережковский, Федор Сологуб, Максим Горький, бывший министр Временного правительства А. В. Пешехонов, один из лидеров меньшевиков А. Н. Потресов, член ЦК Трудовой народно-социалистической партии Н. В. Чайковский и «представители печатного дела», которые выступят с речами в защиту свободы печати.

Газета пестрела весьма выразительными рубриками: «Осквернение идеала», «Насильникам», «Слова не убить».

¹ Как известно, ничего не бывает более постоянного, чем временное — постановление сохраняло силу закона вплоть до 12 июня 1990 года, когда Верховный Совет СССР принял новый закон «О печати и других средствах массовой информации». Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года повторил закон, принятый Верховным Советом СССР.

² Ленин В. И. Сочинения. Т. 10. С. 253.

³ Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Р., С., Кр. и Каз. Депутатов 11 созыва. М.: Изд. ВЦИК, 1918. С. 24.

Против удушения свободы протестовали Владимир Короленко, Зинаида Гиппиус, Вера Засулич.

Но красноречивее других был журналист Петр Рысс: «Царское самодержавие приветствует большевистское самодержавие. Покойные Д. Толстой⁴ и Плеве⁵жимают руки ученикам своим: Ленину, Троцкому, Бонч-Бруевичу. Крайности сошлись и на этот раз».

Даже близкий к большевикам автор «Песни о Буревестнике» в своей «Новой жизни»⁶ осудил режим: «Я нахожу, что заткнуть кулаком рот „Речи“ и других буржуазных газет только потому, что они враждебны демократии — это позорно для демократии.

Разве демократия чувствует себя неправой в своих деяниях и — боится критики врагов? Разве кадеты настолько идейно сильны, что победить их можно только лишь путем физического насилия?

Лишение свободы печати — физическое насилие, и это недостойно демократии.

Держать в тюрьме старика революционера Бурцева⁷, человека, который нанес монархии немало мощных ударов, держать его в тюрьме только за то, что он увлекается своей ролью ассенизатора политических партий — это позор для демократии. Держать в тюрьме таких честных людей, как А. В. Карташов⁸, таких талантливых работников, как М. В. Бернацкий⁹, и культурных деятелей, каков А. И. Коновалов¹⁰, немало сделавший доброго для своих рабочих, — это позорно для демократии.

Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России — это позорно и преступно.

Все это не нужно и только усилит ненависть к рабочему классу. Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей — тысячами жизней, потоками крови»¹¹.

Общее настроение тех лет (на страницах той же однодневной газеты) выразила член ЦК Конституционно-демократической партии, писательница Ариадна Тыркова: «Мы их статьями, а они нас штыками...»

Дискуссии не получалось.

Но штыки окончательно победят перо только через год.

В января 1918-го Совнарком принимает декрет «О революционном трибунале печати». Трибунал состоит из трех лиц, избираемых на срок не более трех месяцев Со-

⁴ Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), занимал разные государственные посты во времена Александре II и Александра III, министр внутренних дел и шеф жандармов в 1882—1889 годах.

⁵ Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) в 1902—1904 годах занимал пост министра внутренних дел и шефа жандармов.

⁶ Летом 1918-го большевики газету закрыли за демократическую позицию, в том числе и за публикацию «Несвоевременных мыслей» Горького, в которых он довольно резко критиковал новый режим.

⁷ Бурцев оказался первым политическим заключенным в России — 25 октября 1917 года в первом и единственном номере газеты «Наше общее дело» он разместил передовую, которая начиналась со слов: «Граждане, спасайте Россию...» Этого было достаточно, чтобы по приказу Троцкого, бывшего в то время председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, посадить известного публициста и издателя журнала «Былое» в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где он сидел и при Александре III, и при Николае II. Какая ирония судьбы, однако.

⁸ Министр исповеданий Временного правительства. Вместе с другими членами кабинета был арестован в ночь с 25-го на 26 октября.

⁹ Министр финансов Временного правительства, ученый-экономист. Так же, как и другие министры, был арестован и посажен в Петропавловскую крепость.

¹⁰ Министр торговли и промышленности Временного правительства. Постигла та же судьба, что и Карташова, и Бернацкого.

¹¹ Цит. по: М. Горький. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990. С. 152—153.

ветом рабочих и солдатских депутатов (какое-то роковое влечение к числу три, в расстрельном 1937-м нарком НКВД Ежов отдает приказ № 00447 о создании «особых троек» для внесудебного рассмотрения дел в республиках, краях и областях), и, руководствуясь своим революционным правосознанием, мог оштрафовать, арестовать, привлечь к суду, приостановить любое издание — временно или навсегда, «распространяющее ложную информацию», конфисковать в общенародную собственность типографии, то бишь имущество, лишить виновных политических прав, в отдельных случаях — свободы, и удалить из столицы за пределы республики.

Разумеется, что ложно, что нет, определяли комиссары в кожаных куртках с нагном в кармане. Они же были наделены правом взять под арест любого вольнодумца, заподозренного в нелояльности режиму.

Уполномоченные комиссары приходили в газеты и журналы в обеих столицах — в Москве и Петрограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, Одессе и Харькове, предъявляли мандаты, редакции разгоняли, кого-то арестовывали, частные типографии, большие и маленькие, закрывали, имущество реквизировали.

На основании Декрета о печати только с октября 1917-го по июнь 1918-го были закрыты более 470 оппозиционных газет.

Цензура с первых же дней советской власти загоняла живое слово под асфальт, но в условиях разрухи и хаоса большевикам понадобилось пять лет, чтобы она приобрела тотальный характер, и с 1922 года вечную российскую заповедь «держаться и не пущать» свято блюло Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит)¹², руководить которым назначили бывшего народовольца Николая Мещерякова, на переломе века перековавшегося в марксиста.

«Буржуазная печать» была выкорчевана с корнем.

И с инакомыслием — во всяком случае, на бумаге — было покончено.

«В раю земном я не могу прожить...» (за словом — поступок)

В 1920 году покинуть новую Россию решили Мережковские. Они уезжали не столько от голода, холода, вонючих мерзлых следок и общественных работ — они уезжали от несвободы, они уезжали от брезгливости, от невозможности эстетически сосуществовать с новой властью. Они покидали «царство Антихриста»¹³, царство тотальной лжи и тотального террора. Им не нужен был обещанный большевиками «рай», обернувшийся адом, — свой билет они отдавали его устроителям. У Гиппиус все эти настроения переплавились в стихи: «Рай (в альбом ***, в СПб-ге)»¹⁴, которым был предпослан эпиграф из Достоевского — фраза Ивана Карамазова «...почтительнейше билет возвращаю...»¹⁵:

Не только молока иль шеколада,
Не только воблы, соли и конфет —

¹² Просуществовало до 24 октября 1991 года.

¹³ Мережковский Д. С., Гиппиус З. Н., Философов Д. В., Злобин В. А. Царство Антихриста. Мюнхен: Drei Masken, 1921 (впервые: Общее дело. Париж. 1921. 26–29 января. № 195–198).

¹⁴ Без даты, пригл. 1919–1920 годы.

¹⁵ У Достоевского: «Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю» — «Братья Карамазовы», глава «Бунт» (Кн. 5. Гл. 4).

Мне даже и огня не очень надо:
 Три пары досок обещал *комбед*¹⁶.
 Меня ничем не запугать: знакома
 Мне конская багровая нога,
 И хлебная иглистая солома,
 И мерзлая картофельная мга.
 Запахнет, замутится суп, — а лук-то?
 А сор, что вместо чаю можно пить?
 Но есть продукт... Без этого продукта
 В раю земном я не могу прожить.
 Искал его по всем *нарводпродвучам*
 Искал вблизи, смотрел издалека,
 Бесстрашно лазил по окопным кручам,
 Заглядывал и в самую *чека*,

Ее ж, смотри, не очень беспокой-ка:
 Я только спрашивал... и все *ревтройка*¹⁷
 Неугомонный поднимала рев.

.....
 И я ходил, ходил в *петрокомпрод*¹⁸,
 Хвостился днями у крыльца в *райком*...
 Но и восьмушки не нашел — *свободы*
 Из райских учреждений ни в одном.

Не выжить мне, я чувствую, я знаю,
 Без пищи человеческой в раю¹⁹:
 Все карточки от Рая открепляю
 И в *нарпродком* с почтеньем отдаю.

За словом у нее всегда следовал поступок — как и классический герой, она возвращала свой билет. В декабре 1919 года Мережковские, критик Философов и Злобин, бывший ее литературным секретарем с 1916 года, выехали из Петрограда в Гомель — в январе 1920-го нелегально перешли границу²⁰. С Совдепией было покончено, но с собой они уносили свою Россию. В той, другой России, которую они оставили (понимали, что навсегда), оставались Брюсов, Блок, Чуковский. Кто-то пошел на сотрудничество с большевистским режимом, кто-то приспособился к совместному сосуществованию²¹. Кто-то — Бунин, Ремизов, Ходасевич, — как и они, покинули родину. Ко-

¹⁶ Комитет бедноты (комбед) — орган советской власти, созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года в годы «военного коммунизма, занимался изъятием хлебных излишков у так называемых «кулаков».

¹⁷ Ревтройка — революционные тройки.

¹⁸ Петрокомпроды — орган Петроградского комиссариата по продовольствию.

¹⁹ Под «пищей» Гиппиус подразумевала свободу.

²⁰ Мережковские опасались, что им не дадут выехать по существующим правилам.

²¹ Здесь не имеет смысла останавливаться на том, какими причинами руководствовались упомянутые литераторы — у каждого были свои.

го-то, в основном философов — Бердяева, Шестова, Карсавина и др., — новые власти, не церемонясь, посадили на пароход и выслали из страны.

Хорошо, хоть не поставили к стенке.

Русская воля (хам грянул)

Четырнадцатью годами ранее, в 1906 году, в самый разгар революционных событий в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Российской империи, Дмитрий Мережковский в статье «Грядущий хам»²² предупредил не только Россию, но и Запад о грядущем «хаме»: хулиганах, босяках, люмпенах. Которые придут снизу.

Пророчество писателя, историка и религиозного философа в отношении Запада не сбылось, а вот в России «хам» грянул в Октябре 1917 года.

Мережковский конкретно Ленина и его соратников в виду не имел. Он был писатель-мистик, о пришествии в скором будущем новых людей — людей злобных, невежественных и упорствующих в своем невежестве, которые, судя по развитию событий, будут играть первые роли в обществе и определяют будущее России на семь десятилетий, писал в общих чертах и, разумеется, 1917 год, когда «хам» не только полезет из всех российских щелей, но и придет к власти, не предвидел (в 1906-м в партии РСДРП состояло всего чуть более 30 тысяч человек). И уничтожит старую Россию. Перевернет все: бытие, быт, старую жизнь с ее поисками добра, гармонии, идеала.

«Добро» придет в кожаной куртке с наганом и ордером на обыск.

К «гармонии» приведет пуля в чекистском подвале.

«Идеалом» станут кровь, насилие, единомыслие.

Русская воля — всегда хаос и анархия. Пушкин, как всегда, был прав: русский бунт — беспощаден и бессмыслен и потому страшен и ужасен. Большевики прервали связь времен и нарушили естественный ход исторического развития России. Это было и преступлением, и ошибкой. Они сняли все табу, разбудили самые темные, дремлющие в человеке инстинкты. «Музыку революции»²³ услышал Блок — Мережковский и Зинаида Гиппиус «ни музыки революции», *ни музыки в революции* не услышали. Хотя «глухотой» на социальные процессы, происходящие в России, не страдали.

Некоторые (наивные) интеллигенты после прихода к власти Ленина и его партии все же надеялись, что наступит лучшее будущее. Будущее наступило, но лучше оно не стало. Начался голод, за голодом наступила разруха, страна раскололась на «белых», «красных» и народ. Как всегда в России, народ безмолвствовал, а «красные» и «белые» пошли стенка на стенку. Гражданскую войну выиграли большевики, и интеллигенты (да и не только они) довольно быстро на себе почувствовали, чем власть Советов отличается от власти Временного правительства — при всех изъянах Февральская революция была демократической, власть оппозиционные партии и газеты не запрещала. Керенский не претендовал на роль пастуха — пасти народ стал лысый человек в мешковатом костюме, загоняя железным жезлом в обещанный коммунистический «рай». Но «рай» оказался сущим адом, в котором не то что жить — существовать было невозможно. Придя к власти, большевики сразу же начали преследовать своих идейных противников.

Не только Мережковские, но и многие другие писатели и философы, ученые и адвокаты, купцы и врачи, не сумевшие приспособиться к новой власти, в одночасье став-

²² Грядущий хам; П. Чехов и Горький / [Соч.] Д.С. Мережковского. СПб.: М. В. Пирожков, 1906.

²³ Блок А. Интеллигенция и революция // Знамя труда. 1918. 19 января.

шие «бывшими, стали готовиться к отъезду из Совдепии (так с презрением старая интеллигенция называла новую большевистскую Россию), с которой было не по пути.

Что дороже (свобода без России)

Те, кто отверг кровь и насилие, по-прежнему хотели «жить законом, данным Адамом и Евой», и не хотели «разворачиваться в марше», когда говорить будет только «товарищ маузер»²⁴. И как можно скорее, стремясь вырваться из наступившего царства тотальной лжи и тотального террора, бежали из наступившего царства *тотальной несвободы*. Бежали туда, где не было большевиков. Туда, где не ограничивали свободу думать, свободу говорить, свободу писать. В Париж, Берлин, Прагу. Где быстро образовались небольшие островки русской жизни.

Все, что творилось в послеоктябрьской жизни (не жизни — хаосе), этим интеллигентам было не по нутру. Они отвергли Октябрь 17-го — не приняли тех, кто умертвил февральскую Россию. И экзистенциальную проблему свободы решали в чисто практическом плане (в Париже Нина Берберова была свидетельницей такого разговора между супругами: «Зина, что тебе дороже, — спрашивал Дмитрий, — Россия без свободы или свобода без России?» — «Свобода без России, — отвечала Зинаида, — и потому я здесь, а не там»²⁵).

Когда-то (в 1904-м) в стихотворении «Все кругом» Гиппиус писала:

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем, все будет иначе.

Она ошиблась. Не то что не стало иначе — стихи удивительно ложились на новую большевистскую действительность. Более того, действительность была пострашнее стихов.

Она никогда не была «хористой» — не пела ни «в хоре», ни «с хором». Она всегда была голосом *из* хора, голосом *вне* хора, отличным от других, поэтому всегда слышимым, поэтому явственно различаемым на фоне других. Она была индивидуальностью, и ей было не по пути с озверевшей массой. И все, что творилось в послеоктябрь-

²⁴ Маяковский В. Левый марш (1918).

²⁵ Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 284.

ской жизни (не жизни — хаосе), ей было не по нутру. И поэтому она не хотела быть с теми, кто умертвил февральскую Россию. Не говоря уже — заодно. Вопрос: со свободой, но без России — был решен в пользу свободы — они уезжали туда, где не было большевиков. Туда, где у них была своя квартира — Мережковские тайно собирались в Париж.

Перевалочным пунктом стала Польша — в Варшаве они занялись антибольшевистской деятельностью. Темперамент Зинаиды Николаевны требовал общественного выхода. Они основали газету «Свобода» (выходила в 1920—1921 годах), где печатали политические статьи, направленные против советской власти; читали лекции о положении дел в Советской России; как (чем) могли, подрывали престиж первого государства рабочих и крестьян. Она была остроумна, зла, иронична и высмеивала своих идейных врагов, не щадя никого.

Русские в Париже («Зеленая лампа»)

В Париже их литературная и общественная деятельность продолжилась — они не собирались сидеть сложа руки.

Вокруг Мережковских всегда собирались люди. Так было в Петербурге, так продолжилось и в Париже — и здесь они стали одним из сосредоточений русской интеллектуальной жизни. По воскресеньям в их квартире, в доме 11-бис на улице Колонель Бонне, расположенном в фешенебельном квартале Пасси, собирались писатели и журналисты, философы и издатели русских газет и журналов. Говорили о литературе, спорили на политические темы, обсуждали положение в России и мире. Но вскоре эти воскресные посиделки показались Мережковским недостаточными, и в феврале 1927 года они создали общество «Зеленая лампа», в котором собирался весь цвет «русского Парижа».

Как писал один из участников этого общества, поэт, критик Юрий Терапиано, это было их «вторым предприятием», рассчитанным на более широкие круги русских, обосновавшихся в Париже: «Мережковские решили создать нечто вроде „инкубатора идей“, род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов „воскресений“ и постепенно развить внешний круг „воскресений“ — публичные собеседования, чтобы перебросить мост для распространения „заговора“ в широкие эмигрантские круги. Вот почему с умыслом было выбрано само название „Зеленая лампа“, вызывающее воспоминание петербургского кружка, собиравшегося у Всеволожского в начале 19-го века»²⁶. Цвет «русского Парижа» можно было увидеть на этих ставших традиционными встречах. К ним приходили мэтры Иван Бунин и Алексей Ремизов, молодые поэты, критики, публицисты Юрий Фельзен и Юрий Мандельштам, философы Николай Бердяев и Георгий Федотов, журналисты Бунаков-Фондаминский и Вадим Руднев. Общество просуществовало до 1939 года. И распалось за год до падения Парижа.

Que faire? (что делать?)

Среди бежавших из «красной» октябрьской России была и Надежда Тэффи — судьба привела ее на берега Сены.

В другой жизни среди ее поклонников был сам государь — в дни празднования 300-летия царствования Дома Романовых у Николая II спросили, кого бы из русских

²⁶ Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 46.

писателей он хотел бы видеть в юбилейном сборнике, он, ни минуты не задумываясь, изрек: «Одну Тэффи!» Другим ее поклонником в той — призрачной — жизни был человек, который в 1917-м вверх дном перевернул всю Россию. С ним она столкнулась во время революционных событий 1905 года, когда работала в «Новой жизни». Большевики, приходившие в газету, о чем-то тайком шептались по углам. Она испытывала откровенную скуку — разговаривать с ними было не о чем. Когда в редакции появлялся Ленин, он грозился не только грабить всех «эксплуататоров трудового народа», но и убивать всех, кто не разделяет его идеи. Ей ни того, ни другого не хотелось, и однажды она развернулась и ушла в «Сатирикон» к Аверченко.

Февраль 1917-го она приняла, Октябрь 1917-го — отвергла. После захвата власти большевиками, написала: «Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить. Жить в них невозможно»²⁷. Но она все-таки пыталась. Когда пытаться больше не стало сил, развернулась и уехала поближе к солнцу и морю — в Одессу, в которую бежали из Москвы, Киева и Петербурга. Город был перевалочным пунктом, из Одессы бежали дальше — в Константинополь, Бухарест, Париж. Она бежать не собиралась, решила остаться, хотя все знакомые в один голос убеждали, что когда город возьмут большевики, ее обязательно повесят. Смерти она не боялась. Боялась разъяренных комиссаров в кожаных куртках, боялась их тупой, идиотской злобы и веры в насильственное переустройство мира, боялась бесцеремонного вторжения в дом и расстрелов в сырых подвалах. Но однажды, устав от грабежей и разбоев, махнула на все рукой и направилась в Новороссийск. Там села на пароход, отплывавший в Константинополь, дала себе слово, что не обернется, когда отдадут швартовы, но не выдержала, оглянулась и застыла, как жена Лота, когда увидела, как постепенно растворяется в розовой дымке земля. Ее земля. Подумала, что весной вернется. Но не вернулась — ни весной, ни летом, ни через год, ни через десять.

Вернулась после смерти — своими книгами...

В Париже она появилась под Новый 1920 год, сняла номер в Hotel Le Vignon, неподалеку от церкви Мадлен, осмотрелась, попривыкла к эмигрантскому быту... и устроила у себя литературный салон, где бывали и Алексей Толстой вместе со своей женой-поэтессой Наталией Крандиевской, актриса Татьяна Павлова, художник Александр Яковлев, бывший прокурор Сената Владимир Носович. Знакомые и незнакомые люди политики и искусства. Как писал ее друг, поэт-сатирик Дон Аминадо, она устраивала смотр новоприбывшим и объединяла разрозненных.

Одним из первых рассказов, появившихся в русской печати, стал «Ке фер?»²⁸. Добрался генерал-беженец до Парижа, вышел на Плас-де-ла-Конкорд, глянул на бездонное голубое небо, посмотрел по сторонам, кругом великолепные особняки, исторические памятники, магазины, забытые давно забытыми продуктами и товарами, нарядная говорливая толпа, растекающаяся по кафе и театрам. Задумался генерал, почесал переносицу и промолвил с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?»

Что мне-то делать среди этой роскоши и красоты, на чужом празднике жизни, без денег, профессии, работы и малейшей надежды на будущее?

Этот вечный русский вопрос — что делать? — рано или поздно вставал перед всеми, кто покинул родину. Что делать в новой жизни — без языка, без средств к существованию (многие бежали без гроша в кармане), без привычки жить в чуждой среде — людям, более озабоченным собственными проблемами, а не мирового порядка...

²⁷ Тэффи Н. На скале Гергесинской // Грядущий день. Одесса. 1919. № 1.

²⁸ Тэффи Н. Ке-фер // Последние новости. Париж. 27 апреля 1920.

Святой принцип (спасать не только себя)

У нее ответ на этот вопрос был. Одного салона ей было недостаточно, салон был всего лишь местом для встреч, общения и привычных за полночь русских разговоров. Она же хотела работать, делать дело. Ее делом была литература, и за «Ке фер?» последовали другие рассказы, сценки, фельетоны. В течение двадцати лет не было и недели, чтобы в выходящих в Париже, Берлине или Риге русских газетах и журналах не появилось ее имя. Добрым юмором и улыбкой скрашивала она зачастую мрачное, одинокое и нищее эмигрантское житье-бытье. Ее книги на чужбине были столь же популярны, как и когда-то на добольшевистской родине. Ее любили и знали в Париже, ее рассказами зачитывались в Варшаве и Праге, ее новых сборников ждали в Харбине и Шанхае. Остроты и шутки персонажей мгновенно подхватывались и передавались из уст в уста.

Но она не только писала, но и самым деятельным образом помогала соотечественникам, известным и безызвестным, выброшенным волною на чужой берег. Она собирала деньги в фонд памяти Ф. И. Шаляпина в Париже и на создание библиотеки имени А. И. Герцена в Ницце. Читала свои воспоминания на вечерах памяти ушедших Саши Черного и Федора Сологуба. Выступала на «вечерах помощи» прозябающим в бедности братьям по перу. Она не любила публичных выступлений перед многочисленной аудиторией, для нее это было мучением, каждое выступление давалось с большим трудом. Легче было за письменным столом, но ее просили, и она никому не отказывалась помочь. Это был святой принцип — спасать не только себя, но и других.

Но порой Тэффи была язвительна и зла и иронично замечала, что русские в Париже жили странной жизнью, не похожей ни на какие другие. Держались не взаимоприятием, а взаимоотталкиванием. Каждый ненавидел всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидели его. И делились «ле рюссы» на две категории — на продающих Россию и спасающих ее. Продающие жили весело, ездили по театрам и ресторанам, держали слуг и наслаждались всем, что мог дать Париж. Спасающие целые дни проводили в хлопотах, интриговали и разоблачали друг друга.

Она не примкнула ни к тем, ни к другим. «Продавать» даже большевистскую Россию не хотелось, да и было некому и незачем. Спасать, находясь во Франции, было глупо и бессмысленно. Она оставалась самой собой, писательницей, острым взглядом подмечающей все нелепости и несуразицы этого мира.

Долгое время жила в гражданском браке с Павлом Андреевичем Тикстоном. Наполовину русский, наполовину англичанин, сын промышленника, некогда владевшего заводом под Калугой, он бежал в Париж, как и она, после прихода к власти большевиков. Надежда была любима и счастлива, насколько может быть счастливым человек, оторванный от родной почвы, вырванный из стихии родного языка. У Павла Андреевича были деньги, но они пропали, когда разразился мировой кризис. Он этого пережить не сумел, с ним случился удар, и она терпеливо ухаживала за ним до его последнего смертного часа.

После его кончины всерьез подумывала, не оставить ли ей литературу и заняться шитьем платьев или начать мастерить шляпки, как это делали ее героини из рассказа «Городок», через который протекала речка Сена. Поэтому они говорили: «Живем худо, как собаки на Сене»²⁹. Но ее Господь Бог уберег: не от «худа» — вязания спица-

²⁹ Рассказ дал название всему сборнику «Городок. Хроника», который вышел в Париже в изд. «Т-во Н. П. Карбасников» в 1927 году.

ми, и она продолжала вязать словами. Однако салон пришлось закрыть, денег на его содержание больше не было.

А «ке фер» вскоре для очень многих русских решился. Бывшие генералы пошли в шоферы такси, присяжные поверенные — в официанты, инженеры — в рабочие. Писатели создавали свои издательства, артисты — театры, философы читали лекции в Сорбонне.

Карнавал в центре Европы (вертеп, храм, балаган)

Вопрос «Что делать?» задавали себе не только вчерашние царские офицеры, но и другие беженцы. И не только в Париже, но и в Берлине. Который после французской столицы был вторым по количеству русских эмигрантов (до него было легче добираться), бежавших из Москвы, Петрограда, Киева и других городов страны.

Русских в немецкой столице проживало столько, что яблоку негде было упасть. Некоторые выехали еще до прихода к власти большевиков, другие — после, третьи приезжали в командировку. По сравнению с Москвой Берлин казался сущим *paradise*. По Унтер-дер-Линден не спеша фланировали добропорядочные бюргеры со своими ухоженными фрау, бесперебойно работали кафе и магазины, почта и железная дорога.

На вопрос героя Тэффи ответила сама жизнь — в немецкой столице практически никто из беженцев не сидел без дела.

Бывшие генералы, сменив мундиры на ливреи, не гнушаясь чаевыми, услужливо раскрывали двери в русских ресторанах, открытых другими — предприимчивыми — соотечественниками, где под икру с блинами, расстегаи и холодную водку настоящие цыгане распевали романсы, устраивая для сытых бюргеров представления в духе «а-ля рюс».

Бывшие эсеры, презрев мирское, занялись антибольшевистской деятельностью. Темперамент требовал общественного выхода. Они основали газеты, журналы, издательства. Публиковали политические статьи, писали книги, направленные против советской власти, читали лекции о положении дел в новой России, издевались и высмеивали своих идейных врагов.

Но русский Берлин состоял не только из бывших губернаторов и вице-, кадетов или социал-революционеров. В Берлине 20-х жили и работали, дружили и ссорились меж собой писатели, философы и художники всех направлений: Владимир Набоков и Илья Эренбург, Роман Гуль и Виктор Шкловский, Семен Франк и Федор Степун, Василий Кандинский и Натан Альтман. Приезжали Владимир Маяковский (с чтением своих стихов), Сергей Есенин (по издательским делам), Лев Лунц, бывший «Серапионов брат» (на лечение). Заметную роль в этом мире играл издатель Зиновий Гржебин, живший в Берлине с советским паспортом. Он основал филиал своего издательства, оставшегося в Петрограде («Издательство З. И. Гржебина»), и публиковал как авторов, живущих в Советской России, так и в эмиграции.

Все выступали в кафе и клубах — кто-то оплакивал старую царскую Россию, кто-то продолжал горевать о поражении Февраля и на чем свет проклинать революцию и большевиков; одни, рассчитывая вернуться, говорили о революции осторожно, другие безудержно славил. Русский Берлин представлял собою клубок политических страстей, литературных симпатий и антипатий, человеческой любви и ненависти. Прошлое и настоящее мешалось, сплеталось и расплеталось, город был вертеп, храм и балаган одновременно.

На этом пикнике в центре Европы, отчужденном от законопослушных немцев, выше всего ставящих *Ordnung* («*Ordnung muss sein*» — даю свой вольный перевод: во

всем и везде должен быть порядок), не сливавшимся с аборигенами литературно-политическом карнавале, параде тщеславий, амбиций и самолюбий, празднике страстей и азарта место находилось всем — и бывшим «белым» офицерам, и «красным» писателям, и религиозным философам, и художникам-авангардистам.

Конец праздника (пути и перепутья)

Все когда-то кончается в этой жизни — в 1923 году, когда в один миг резко обесценилась марка и в немецкой столице началась бешеная инфляция, праздник кончился и настали тяжкие будни. Русский Берлин стал стремительно пустеть: работать было негде, гулять было не на что, «песни и пляски» оборвались, почва, *пусть и чужая*, уходила из-под ног. В городе сделалось тоскливо и скучно: жить в нем как-то сразу стало нечем и незачем, это был уже *другой* Берлин. Книгоиздательская деятельность дышала на ладан, для многих литераторов существование стало зыбким и неустойчивым, и они стали разъезжаться: Цветаева и Ратгауз³⁰ уехали в Чехословакию, философы Франк и Бердяев — во Францию. Некоторые возвращались в Советскую Россию.

Среди возвращенцев одним из самых примечательных и известных был Виктор Шкловский.

Придется лгать (человек ко всему привыкает)

В свое время он говорил: «Искусство всегда было вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет флага над крепостью города»³¹. Но теория расходилась с жизнью, главный теоретик ОПОЯЗа³² революцию не только не принял, но и боролся с ней с оружием в руках: в 1918 году примкнул к направленному против советской власти вооруженному мятежу, устроенному правыми эсерами. Правда, уже в конце года он решил отказаться от вооруженной борьбы и любой политической деятельности, забыть и о своем участии в работе первого Петроградского совета, и о poste помощника комиссара Временного правительства, и о Георгиевском кресте, врученном ему за храбрость генералом Лавром Корниловым.

Эсеров не устраивали ни Колчак, ни большевики. Нужно было выбирать и идти на компромисс. Выбрали большевиков. Тем более что партия была амнистирована новой властью. Правда, ненадолго. Новая власть своих идейных врагов не забывала.

И всегда добивала.

В 1922 году начались первые аресты и подготовка к первому показательному процессу над правыми эсерами. Шкловский бы продолжал работать, ему ничего больше не надо было, но в том же 1922-м в Берлине вышла книга его бывшего товарища Г. Семенова (Васильева) «Боевая и военная работа партии социалистов-революционеров 1918–1919 гг.», который откровенно рассказал о деятельности своих однопартийцев по свержению советской власти.

В книге было много и о Шкловском.

Этого «много» хватило бы для ареста.

³⁰ Ратгауз Даниил Максимович (1868–1937) — поэт, автор нескольких известных романсов.

³¹ Шкловский В. *Ход коня*: Сборник статей. М.; Берлин: Геликонъ, 1923. С. 39.

³² ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка, в которое входили Борис Томашевский, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум и др. литературоведы и лингвисты. Одним из его создателей и идеологом был Виктор Шкловский.

...Он уходил в эмиграцию по тонкому льду Финского залива. Кое-где сквозь мартовский лед проступала вода. Он осторожно огибал гиблые места, мечтая добраться до берега. Из Финляндии перебрался в Германию. В Германии было холодно, голодно и мучила тоска. Все, что он любил — жену, друзей, ОПОЯЗ, — он оставил в России.

Ничего не оставалось делать, как писать письма Горькому: сообщить ему о грянувшем громе, о том, что пока избежал судьбы Гумилева, посетовать, что не знает, как будет жить без родины, а затем, в более поздних письмах жаловаться на безденежье и одиночество... и отчаянно завидовать Эренбургу, у которого был паспорт.

В Берлине он начал писать книги. Впрочем, Шкловский делал это всю жизнь. О том, что он пережил с 1917-го по 1922 год, он расскажет в «Сентиментальном путешествии»³³. Умолчал больше, чем рассказал; факты биографии — жизнь в подполье, преследования, побег и переходы границы — становились фактами литературы; книга была похожа на авантюрный роман. Однако о своем реальном участии в антисоветском заговоре, явках и именах Шкловский рассказывает мало, становясь в позу скромной девицы, только-только окончившей гимназию и ни в чем таком не замеченной.

А потом он взялся за «Зoo письма о нелюбви, или Третья Элоиза», которую через год издаст все в том же издательстве «Геликонъ». Женщину, которую он любил, была сестра Лили Брик — в будущем французская писательница Эльза Триоле.

Он писал ей обо всем на свете: о Велимире Хлебникове и Алексее Ремизове, о холоде и жестокости нелюбящих, о принципе относительности и немце с кольцами в ушах, встреченном где-то на улицах.

Последнее письмо в «Зoo», в котором он признал, что революция переродила его, что в Берлине ему нечем дышать, что он поднимает руку и сдаётся, он адресовал во ВЦИК.

Это было тридцатое письмо, им и заканчивалась эта берлинская книга.

Он написал тем, от которых когда-то бежал.

Тем, с кем некогда боролся с оружием в руках.

Он поднял руки и сдался.

Для большевиков (ВЦИК) это были «романтические слезы».

Но его пустили. Еще один переродившийся, раскаивающийся, сдавшийся и сложивший оружие перед советской властью *интеллигент* (здесь и далее курсив мой. — Г. Е.), какими бы мотивами он ни руководствовался, было хоть небольшой, но *победой новой власти*.

Бывший эсер Виктор Шкловский прекрасно знал, куда и к кому он возвращается и что его ждет на родине.

Когда прошение о прощении было удовлетворено, в письме Горькому от 15 сентября 1923 года он, сознавая, что придется делать в новой реальности, написал:

«А я уезжаю. Придется лгать, Алексей Максимович.

Я знаю, придется лгать.

Не жду ничего хорошего»³⁴.

Хорошего на родине действительно было мало. Но у него не отобрали возможность писать. А писать для него означало жить.

На родине.

Теперь она называлась СССР.

³³ Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. 1917–1922. М.; Берлин: Геликонъ, 1923.

³⁴ Шкловский В. Б. Письма М. Горькому (1917–1923 гг.) // Примечания и подготовка текста А. Ю. Галушкина. De Visu. 1993. № 1. С. 40.

К этому нужно было привыкнуть.
Он привыкал трудно.
Но в конце концов — привык.
Человек ко всему привыкает.

Вкус пепла (выбор Ходасевича)

В том же 1923 году перед выбором — оставаться в Берлине или возвращаться в Россию — стояли Ходасевичи.

Большевики прервали связь времен и нарушили естественный ход исторического развития России. Это было и преступлением, и ошибкой. К этой мысли он пришел не сразу, а исподволь, в 1926 году, а в 1917-м, как и некоторые другие интеллигенты, впал в соблазн и искушение и искренне поверил, что революция всего лишь лихорадка, которая пойдет на пользу России.

Революция оказалась не насморком, не лихорадкой, как он думал, а тяжелой «пляской святого Витта». А обещанный коммунистами «рай» — сущим адом, в котором не то что жить, существовать было невозможно.

Несмотря ни на что, он продолжал идти своим путем³⁵ — тянул тяжкую житейскую и литературную лямку. В первые послереволюционные годы служил в Театрально-музыкальной секции Московского совета, читал в Пролеткульте лекции о Пушкине и создавал писательскую Книжную лавку.

Через целую жизнь, в 1983 году, Нина Берберова вспоминала, что в апреле 1922-го Ходасевич сказал ей, что перед ними сейчас две задачи: быть вместе и уцелеть. Быть вместе и уцелеть можно было только за границей. Вкус пепла, который он чувствовал последнее время, становился все более нестерпимым, произвол, насилие и хамство терпеть больше не было сил. И тогда оба сделали свой выбор: он выбрал Европу, она — его.

И оба спасли друг друга.

«...Мне хочется сойти с ума» (европейская ночь)

В июне 1922-го они выехали в Берлин. Прожив год в немецкой столице, колебались в выборе: не хотели ни возвращаться в Россию, ни окончательно рвать с ней, но и оставаться в Германии не имело смысла, ближайшее будущее не то, что не просматривалось, даже не брезжилось. Оба понимали, что рано или поздно придется уезжать, но — куда? Он отдавал себе отчет в том, что на родине делать нечего. Оставались Париж, Прага, Венеция. Но Париж был дорог, Прага провинциальна, и он выбрал Италию. Поближе к дешевизне, подальше от поднадоевших соотечественников.

Итальянцы визы не дали, и они поехали в нелюбимую Прагу — там пытались обустроиться философ Николай Лосский и лингвист Роман Якобсон. Вскоре Ходасевичей пригласил к себе Горький. Они с радостью приняли предложение и уехали в Мариенбад. В Мариенбаде были глушь, тоска, снег. Жизнь текла однообразно и моно-

³⁵ Всю сознательную жизнь Ходасевич придерживался одной теории: все живое идет путем зерна. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода», — благовествовал Иоанн в своем Евангелии. «Так и душа моя идет путем зерна: /Сойдя во мрак, умрет — и оживет она», — вторил он вслед за евангелистом в своих стихах.

тонно. Днем работа, вечером чай и разговоры с Горьким. Стихи не писались, он ходил злой, мрачный.

Итальянцы вдруг передумали и дали визу, они отправились в Венецию. Она была все такой же прекрасной, воздушной и легкой, как и в 1911 году, когда он впервые побывал в этом городе, сотканном из неба, камней и воды. Но Мариенбад, Прага, Венеция красиво звучали — переезды из страны в страну, из города в город тяготили, выбивали из колеи, привычного ритма, и он ощущал неодолимую потребность пристать к одному, пусть чужому, но берегу. И вскоре после европейских скитаний (еще и Дублин, и Сорренто), в апреле 1925-го, Ходасевич и Берберова уехали в Париж. Во Франции иллюзии в отношении большевиков и «строительства новой жизни» кончились. Он резко выступил не только против призывов к терпимости и сотрудничеству с советской властью, но и напрочь отверг саму идею возвращения на родину, которая живо обсуждалась в эмигрантских кругах. После этого с Советской Россией было покончено навсегда.

«Какая тьма, однако» (Дант в аду)

Немцы вошли в Париж в июне 1940-го.

Дмитрию Мережковскому останется жить чуть больше года, Зинаиде Гиппиус — пять лет.

Но что это были за годы. Многие русские успели (кто куда) выехать из Франции. Мережковские остались. В дневник она записала: «Я едва живу от тяжести происходящего. Париж, занятый немцами... неужели я это пишу»³⁶. Через две недели гитлеровцы уже были в Биаррице. «О, какой кошмар! — восклицает она. — Покрытые черной копотью, выскочили из ада в неистовом количестве с грохотом, в таких же черных, закоптелых машинах... Почти нельзя вынести». Но они вынесли и это. Как и сумели пережить в августе смерть Философова.

Но беды продолжали валиться одна за другой. Они боролись с навалившейся старостью, с болезнями — возникли перебои с лекарствами, с голодом — порою вся еда их состояла из кофе и черствого хлеба, с холодом — не было угля, чтобы согреть дом, с безденежьем — французские издатели с приходом немцев перестали платить, о заграничных не заходило и речи. Вспоминался Петроград 1917 года. В Париже 1940-го было хуже.

Что оставалось?

Друзья, которые помогали, чем могли.

Работа, которая спасала от уныния.

...Дмитрий Мережковский ушел из жизни 7 декабря 1941-го. Он редко болел, продолжал много писать и умер внезапно. А она все время боялась за него — и добоялась.

После смерти мужа замкнулась в себе, свидетельствует верный Владимир Злобин (остававшийся с нею до ее последнего часа), и даже помышляла о самоубийстве — только «остаток религиозности» удерживал ее от самовольного ухода. Но — «жить мне нечем и не для чего»³⁷, — записывает она в дневник. И все же она нашла в себе силы и продолжала жить. Утраты продолжались: в ноябре 1942 года не стало сестры Аси. В дневнике появляется запись: «С того дня в ноябре, когда умерла Ася, я каждый час чувствую себя все более оторванной от плоти мира (от матери)»³⁸.

³⁶ Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 122.

³⁷ Там же. С.130.

³⁸ Там же. С. 131.

Зинаида Николаевна пережила мужа на пять лет, успев начать книгу о нем («Дмитрий Мережковский»), но не успела закончить. Когда она начинала работу, она понимала, что его уход (как, впрочем, и ее самой) не за горами. Поэтому надо было спешить. После смерти Д. С. она могла воскресить его только в слове. Это единственное, что у нее осталось. Но судьба распорядилась иначе...

«На З. Н. в церкви на отпевании (Мережковского. — Г. Е.) было страшно смотреть: белая, мертвая, с подгибающимися ногами. Рядом с ней стоял Злобин, широкий, сильный. Он поддерживал ее, — вспоминала Нина Берберова. — После его смерти она словно закаменела»³⁹.

В сентябре 1943-го на русском кладбище в Сен-Женьев-де-Буа открывали памятник Д. С. Мережковскому. За эти несколько лет Зинаида Николаевна превратилась совсем в старуху, черты лица ее обострились, кожа стала сухой и прозрачной. Ей помогали жить стихи.

Стихи она начала сочинять в семилетнем возрасте. В первом она писала:

Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю...

В последнем:

Я на единой мысли сужен,
Смотрю в сверкающую тьму,
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому.

Она прошла «чистилище» и все отпущенные ей жизнью круги «рая» и «ада». И осталась Гиппиус, все с тем же мужским «Я», со своим отношением к людям, к миру.

В последнее время она работала над поэмой «Последний круг (И новый Дант в аду)»⁴⁰. Ее личная «божественная комедия» подходила к концу — в поэме она подводила ее итоги.

«Незадолго до смерти у нее вырывается крик: „Но мне все равно теперь. Я только и хочу — уйти; уйти, не видеть, не слышать, забыть...“»⁴¹ Свидетелем был Владимир Злобин, остававшийся с нею до ее последнего часа.

Она умерла сухой парижской осенью 9 сентября 1945 года и была похоронена на русском кладбище, где покоилось тело ее мужа, с которым она прожила такую долгую жизнь и без которого все в ее жизни стало терять свой смысл...

«Господи! Пошли твоих лучших ангелов...» (молитва Тэффи)

На сотрудничество с коллаборационистским режимом Виши она не пошла, мужественно преодолевала знакомый ей по России холод и голод и расплзавшийся по швам налаженный быт. Переживала, что печататься было негде: при немцах русские газе-

³⁹ Берберова. Н. Там же. С. 473—474.

⁴⁰ Возрождение. 1968. № 198. С. 7—47. Публикация Тамары Пахмусс.

⁴¹ Злобин В. Там же. С. 132.

ты и журналы закрылись, книги не выходили. Годы и здоровье были уже не те, и когда стало совсем немоготу, уехала не за океан, в Соединенные Штаты, куда бежали многие русские, а к океану, в Биарриц, куда перебрались немногие из оставшихся соотечественников. И замолчала. Может быть, поэтому в 1943 году по русской Америке и разнесся слух: Тэффи умерла. В него поверил даже всегда во всем сомневавшийся Михаил Цетлин, поэт Амари, который напечатал некролог в нью-йоркском «Новом журнале»: «О Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени»⁴². Узнав, что ее похоронили заживо, она в одном из писем к дочери отшутилась, что с любопытством бы прочитала о себе некролог — может быть, он такой, что и умирать не стоит. А в другом с тем же присущим ей не только литературным, но и житейским юмором обронила, что недавно вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала мужа.

Когда летом 1944-го Франция освободилась от оккупации, было радостно, но радость омрачали годы. Старость обрушилась на нее неожиданно, как грабитель с ножом, который нападает на свою жертву, зазевавшуюся в темном переулке. Вместе со старостью пришли болезни. Сдавало сердце, она стала плохо видеть, нервы были напряжены. Жизнь болталась за спиной, как заплечный мешок, в котором было перемешано все: рождения и смерти близких людей, литературные дружбы и человеческие размолвки, встречи и расставания, и в последнее время состояла из одних неприятностей. Неприятности, связанные с трудным послевоенным бытом, нехваткой денег и лекарств, сыпались на нее одна за другой и образовывали цепь. Она пыталась эту цепь разорвать, но ничего не получалось: она вступала в смертный возраст — жизнь могла оборваться вчера, сегодня, завтра — и была похожа на высохшее, осеннее, обезлиствевшее дерево, которое раскачивает ветер, с него не только облетела листва, но уже были подрублены корни.

Не было сил работать, слова отказывались складываться во фразы, в голове вертелись мысли об уходе, о том, что там, за порогом. А на пороге стояла смерть и с неммым укором вопрошала: «Когда?» Бесстрастная старуха с косою уже вышибла из ее поколения тех, кого она любила, с кем дружила и входила в литературу. В 1943 году ушел редактор «Современных записок» Илья Фондаминский, в 1947-м — поэт-сатирик Лоло Мунштейн, в 1950-м — прозаик Борис Пантелеймонов. Еще работали Иван Бунин, Алексей Ремизов, Сергей Горный, но и им уже оставались считанные годы.

Старость — это одиночество, болезни, тоска. Когда зимой в жилах стынет кровь, а летом холодеют руки и ноги. Когда еще чего-то хочешь, но уже ничего не можешь. Но она не жаловалась, принимала мир таким, как он есть. Понимала, что в жизни есть много выходов, из жизни — один. И продолжала жить, как жила, с большим важным котом и тяжким удушьем, в доме № 59 на рю Буассьер, в небольшой квартирке, сплошь заставленной книгами, на крошечную пенсию, которую по договоренности с ее другом Андреем Седых выплачивал миллионер и филантроп С. С. Атран⁴³. Небольшие деньги помогали выжить, не идти на паперть с протянутой рукой. Да она бы скорее умерла со стыда, чем позволила себе такое унижение. Когда Седых из Америки добавлял к пенсии собственные деньги, призывала его этого не делать, просила любить даром.

Над диваном висел ее портрет, который напоминал о безвозвратно ушедшей молодости. Изредка приходили гости. Тогда кот с ленточкой снимался с насиженного места и с недоверием обнюхивал пришедших.

⁴² Новый журнал. Нью-Йорк. 1943. № 6. С. 384—386.

⁴³ Новый журнал. Нью-Йорк. 2000. № 3.

Однажды приехала миллионерша из Сан-Франциско. Нашла, что она живет плохо. Советовалась, купить ли маленькую авиэтку — но в ней качает, или большой самолет — но им трудно управлять. Она посоветовала большой — какие-нибудь десять миллионов разницы не составляют.

Во второй половине 1951 года болезни одолели настолько, что уже не могла работать пером. Атран умер, вместе с ним умерла и пенсия. Незадолго до своего ухода успела опубликовать в Нью-Йорке свою последнюю книгу «Земная радуга»⁴⁴. В рассказе «Проблеск» писала: «Наши дни нехорошие, больные, злобные, а чтобы говорить о них, нужно быть или проповедником, или человеком, которого столкнули с шестого этажа, и он, в последнем ужасе, перепутав все слова, орет на лету благим матом: „Да здравствует жизнь!“» В книге исповедовалась перед собою и читателями. Прощалась светло и мудро с теми, кто еще оставался жить на этой грешной земле. И обращалась к Богу с молитвой: «Когда я буду умирать... Господи, пошли лучших Твоих Ангелов взять мою душу».

Ангелы пришли за ее душой 6 октября 1952 года. В Париже стояла вся в красно-желтых тонах, теплая, солнечная осень. 8 октября ее отпели в Александро-Невском соборе и похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

В 1923 году она написала:

Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпуровой каймою!
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут: «Вот луна играет на волнах...»

Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною!
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла...»

Через 29 лет это стихотворение перед отверстией могилой прочитал ее друг, бывший меньшевик Григорий Алексинский.

«Нет в жизни ничего святее и ужаснее прощанья...» (последний приют)

В Париже Ходасевич резко выступил не только против призыва Кусковой к терпимости и сотрудничеству с советской властью, но и напрочь отверг саму идею возвращения на родину, которая живо обсуждалась в эмигрантских кругах. «Россию, — писал он, — мы любим и без наставлений Кусковой, а большевиков любить нельзя». И продолжал: «Помочь русскому народу, работая с большевиками, нельзя, ибо они сами „работают“ ему во вред. Всякое сотрудничество с Советской властью — по существу направлено ПРОТИВ русского народа. Всякая поддержка большевиков есть поддержка мучителей этого народа»⁴⁵. Еще в 1923-м он понял, что ждать от людей, желающих сде-

⁴⁴ Тэффи Н. Земная радуга. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952.

⁴⁵ Идеальный противник советской власти, один из организаторов и руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим. Екатерина Дмитриевна Кускова (1869—1958), высланная за границу в 1922 году, убеждала эмигрантов в самоочищении большевистского режима и призывала к поиску достойных путей возвращения на родину. Ходасевич резко выступал против такой позиции, в частно-

лать политическую и социальную революцию без революции духа, нечего. Он ждал — по глупости, теперь поумнел и в 1926-м пытался предостеречь других от еще более глупых глупостей — возвращение в лучшем случае грозило лагерем. Кроме того, уехать для него сейчас означало стать подлецом. Вопрос «возвращаться или нет» из области политики и самосохранения переходил в область морали. Он подлецом никогда не был и становиться им не собирался.

И остался в Париже.

Он выбирал между молотом и наковальней и выбрал — судьбу эмигранта. На родине о нем уже давно писали гадости, называли «вчерашним прихлебателем покойного Дома Искусств, бывшим лектором для литературных кружков, ныне певцом реакции и самодержавия», в типично советском подзаборном духе обзывали «черносотенцем и негодяем», ругали «мистиком и индивидуалистом». Но и на чужбине он чувствовал себя не лучше — в эмигрантской среде был скорее парией, отверженным, изгоем, нежели своим. Всегда исповедовал пушкинское: «Ты — царь. Живи один». Мало с кем дружил, но почти ни с кем и не ссорился. Его русский Париж был невелик: Зайцев, Осоргин, Ремизов, еще двойка-тройка знакомых по Москве и Петрограду. Бунин, Куприн, Мережковские были «вне него и вне себя от него».

Его общественная и литературная позиция вызывала резкую критику и «справа», и «слева», он фактически лишился работы, а значит, и средств к существованию, потому что не устраивал никаких платных вечеров, не получал никаких пособий от иностранных правительств и не пользовался помощью фондов, помогавших русским беженцам. В 1926 году он разошелся с керенскими «Днями»⁴⁶, в том же году ему перекрыли кислород «Последние новости» Милюкова⁴⁷. Для обоих изданий он писал не только литературные обзоры, но и политические статьи. Его привечали, хотя и побаивались в «Современных записках», но журнал не мог дать более-менее регулярный заработок. В обстоятельствах исключительно тяжелых и постоянно стесненных однажды не выдержал, пришел к Вишняку⁴⁸, худой и бледный, и объявил, что решил кончать с такой жизнью. Кончать с такой жизнью означало кончать с собой. Свести счеты с жизнью он порывался давно, это сидело в нем глубоко с ранних лет, прорывалось, когда не было мочи терпеть и переносить земное существование, в стихах, таких, как «Из дневника», в 1921-м: «Мне каждый звук терзает слух, / И каждый луч глазам несносен». (Позже на экземпляре сборника, вышедшего в 1927 году в Париже, сделает помету: «Я был в ужасном состоянии. Хотел бежать из России, покончить с собой».)

Но ни тогда в Петрограде, ни сейчас в Париже на этот шаг не пошел. В России удержала мысль, что еще не все кончено, во Франции — ответственность перед Ниной. Он продолжал «кричать и биться» в этом мире, обдирая о его острые углы больное тело и истерзанную душу. Но постоянно был на грани. Особенно в Париже. Ощущал себя зерном, брошенным в другую почву. Зерно проросло, но росток не прижился. Нина боялась надолго оставлять его одного: мог выброситься из окна, открыть газ, сделать

сти, в письме от 7 апреля 1926 года к историку, бывшему эсеру М. М. Карповичу. См.: Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. С. 498.

⁴⁶ Дни — газета, которую издавал бывший глава Временного правительства А. Ф. Керенский. В 1921—1925 годах выходила в Берлине. С 1925-го по 1933 год в Париже. В «Днях» публиковались статьи о политике, экономике и литературе.

⁴⁷ Последние новости — газета, которую редактировал бывший член Государственной думы, лидер кадетской партии П. Н. Милюков. Выходила в Париже в 1920—1940 годах.

⁴⁸ Вишняк Марк Вениаминович (1883—1976) — эсер, в эмиграции один из редакторов русского «толстого» журнала «Современные записки», выходившего в Париже с 1920-го по 1940 год. С 1937 года участвовал в редактировании журнала «Русские записки», руководимого П. Милюковым.

что угодно. Жизнь все меньше радовала его. Спасала работа. Не газетная поденщина в «Возрождении»⁴⁹, где он обрел пристанище после ухода из «Дней», после разрыва с «Новостями», а стихи, биография Державина⁵⁰, воспоминания о тех, кто ушел, с кем когда-то, в другой жизни, был знаком, близок, дружен. Стихи были чисты и прозрачны, как ключевая вода, дышали мудростью и всеведением и оттого немного горчили. Биография Державина читалась как классический роман-судьба, «Некрополь»⁵¹ воспринимался как прощание с веком, эпохой, самим собой...

Нина ушла от него в апреле 1932-го. Ее уход он воспринял как крушение всей своей жизни. Цепляться больше было не за что. В июне он заболел и поставил крест на работе о Пушкине и на стихах. Нине, с которой сохранил родственные отношения, написал: «Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь нет у меня *ничего*»⁵².

Он разочаровался в эмигрантской литературе, считал, что она могла состояться, но не состоялась — были отдельные произведения Бунина, Ремизова, Набокова, литературы не было. Когда-то он думал, что эмиграция хочет бороться с большевиками — но она не хотела. Когда-то он думал, что эмиграция хочет делать литературу — она не хотела или не могла. Степун был прав: память о России все более подменялась воспоминаниями о ней. И тогда он сказал себе: хватит — и решил жить и писать только для себя, полагая, что «одно хорошее стихотворение НУЖНЕЕ Господу и угоднее, чем 365 (или 366) заседаний „Зеленой лампы“»⁵³. Но после ухода Нины стихи были редкими гостями в его доме. Он остался один, и ему ничего не оставалось, как погибнуть. В 1933 году в «Возрождении», в статье «Литература в изгнании» обобщил: «Судьба русского писателя — погибнуть. Гибель подстерегает их и на той чужбине, где мечтали они укрыться от гибели».

Наполовину поляк, наполовину еврей, русский поэт Владислав Ходасевич, не приходя в сознание, умер в парижском городском госпитале Бруссе в шесть часов утра, в среду, 14 июня 1939 года.

С ним прощались трижды: на панихиде, при отпевании и на кладбище. В 1934-м он написал стихи:

В последний раз зову Тебя: явись
На пиршество ночного вдохновенья.

В последний раз: восхить меня в ту высь,
Откуда открывается паденье.

В последний раз! Нет в жизни ничего
Святее и ужаснее прощанья.

Оно есть агнец сердца моего,
Влекомый на закланье.

⁴⁹ «Возрождение» — старейшая ежедневная газета на русском языке, выходившая в Париже с 1925 года. В «Возрождении» Ходасевич постоянно вел литературно-критический подвал «Книги и люди», затем вместе с Берберовой раздел «Литературная летопись».

⁵⁰ Ходасевич В. Державинъ. Париж: Современные записки, 1931.

⁵¹ Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles: Les éd. Petropolis, 1939.

⁵² Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой. Публикация Д. Бетеа. Минувшее. Исторический альманах № 5. Atheneum. Paris. С. 285.

⁵³ Письмо Ходасевича В. Вишняку от 2 апреля 1926 г. См.: Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. С. 498.

В нем прошлое возлюблено опять
С уже нечеловеческою силой.

Так пред расстрелом сын объемлет мать
Над общей их могилой.

Стихи оказались пророческими. Были и святость, и ужас. Было высоко, торжественно и тихо...

Его хоронили по католическому обряду. В крошечной часовне при больнице, в присутствии самых близких людей отслужили панихиду. Он, холодный и желтый, с заострившимися чертами лица, утопал в цветах. Горели свечи, пахло воском, священник несуетливо и неспешно делал свое привычное дело.

Затем его положили в гроб. Гроб был беден, скромен и неуютен, как и вся его жизнь. Но он наконец-то освободился от телесной оболочки, обрел желанный покой, черты лица расправились, лицо приобрело умиротворенное выражение.

На следующее утро обвитый венками ящик поставили на фургон, он медленно тронулся и покотился в русскую католическую церковь. Его отпели, вынесли из церкви, опять поставили на фургон.

По Бианкурскому кладбищу ладья Харона медленно плыла до могилы на плечах Юрия Мандельштама, Смоленского⁵⁴, Вейдле⁵⁵ и еще двух-трех самых близких и дорогих его сердцу людей. Могила была неглубокой и узкой. Гроб осторожно опустили в сухую землю, все тот же священник, что служил панихиду, прочел молитву и первым бросил твердый комок вниз. В тишине он глухо ударился о деревянную крышку...

«Лиса в меховом магазине» (под колесами «автобуса»)

Вернувшись в Советскую Россию, из которой он бежал в 1922 году, Шкловский постепенно не только привык к советской власти, но и принял ее методы — *страх и угнетение*.

Может быть, полагал, что в России иначе нельзя?

В 1926-м он написал и издал «Третью фабрику», самую личную, самую откровенную свою книгу. Писал в ней, что видит на сегодняшний день только два пути.

Один — *«уйти, окопаться, зарабатывать деньги нелитературой и дома писать для себя»*. Другой — *«пойти описывать жизнь и добровольно искать нового быта и правильного мировоззрения»*. Для себя выбрал третий: *«работать в газетах, в журналах... изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература»*⁵⁶.

Дальше шли строки, которые вызвали недоумение у всех, кто его знал:

«Из жизни Пушкина только пуля Дантеса, наверно, не была нужна поэту.

Но страх и угнетение нужны».

И все-таки мучила совесть, и у него хватило смелости признаться: *«Я живу плохо. Живу тускло, как в презервативе... Ночью вижу виноватые сны...»*

⁵⁴ Смоленский Владимир Владимирович (1901–1961) — поэт первой волны русской эмиграции. Был близок к Ходасевичу, считал его своим учителем.

⁵⁵ Вейдле Владимир Васильевич (1895–1973) — историк, культуролог, литературовед.

⁵⁶ Здесь и ниже цит. по: Виктор Шкловский. Третья фабрика. Артель писателей «Круг», 1926. С. 81, 84, 85, 93.

Это был не очередной эпатаж неуспокоившегося формалиста, литературная жизнь в СССР тех (да и других) времен действительно напоминала жизнь в этом самом предмете.

Он сделал несколько неверных шагов. Хорошо написал об «Александре Невском», которого вычеркивали из лучших картин Эйзенштейна, и его сценаристе (рука не поднимается написать писателе) Павле Павленко. На Павленко пробы некуда было ставить, одно время он был председателем правления Союза советских писателей, и от него пострадало много достойных людей, в том числе и Мандельштам. В кулуарах Шкловский называл его «Правленко».

Но время требовало компромиссов, и он, имея за плечами ту биографию, что имел, сознательно шел на компромиссы.

В «Третьей книге» сравнил писателя со льном, которого *«дергают из земли, взяв за голову»*. *«Лен, если бы он имел голос, кричал при обработке»*.

У него, как у льна, изменился голос.

Но до наступления политических холодов он успеет еще издать книгу «Гамбургский счет»⁵⁷.

Годы были еще такие, что еще можно было в предисловии написать:

«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Версаева нет.

Они не доезжают до города.

В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион».

А когда через несколько лет возьмется за формалистов, в статье «Памятник научной ошибке, опубликованной в „Литературной газете“»⁵⁸, бывший формалист отречется от своих формалистских взглядов, но сделает это по-шкловски: рапповским держимордам, связанным с ОГПУ, простым и понятным языком объяснит, что его тезисы «искусство как прием», «остранение» не являются выпадами против советской власти, а всего лишь спорами ученых меж собой.

И от него отстали — не только простили, но даже взяли в группу идейно безошибочных писателей, которых пригласили проехаться по Беломорканалу, построенному силами заключенных. «Золотые перья» советской литературы должны были подтвердить проводимую партией и правительством политику, что «старого» человека можно перековать и даже выковать в «нового человека» в гиблом месте, сплошь покрытом тюрьмами и лагерями.

Когда на вопрос о самочувствии сопровождающего вежливого чекиста (в любом виде потенциального клиента) Шкловский не удержался и неосторожно пошутил: «Как живая лиса в меховом магазине»⁵⁹, чекист шутку оценил, улыбнулся и дальше

⁵⁷ Шкловский В. Гамбургский счет. Издательство писателей в Ленинграде, 1928.

⁵⁸ Шкловский В. Памятник научной ошибке // Литературная газета, 27 января 1930.

⁵⁹ Так ли ответил Шкловский чекисту или нет, неизвестно — что ответил именно так, он рассказывал своим друзьям.

ходу ей не дал. И в то же время в эпохальном шестисотстраничном коллективном труде советских писателей⁶⁰, родившемся после *вдохновляющей* поездки, участвовал в самом большом количестве глав — девять. И рассказывая о написании этой книги, утверждал, что путь, которым идем, единственно правилен, и говорил, что это великий опыт превращения человека.

Слово все больше и больше расходилось с делом.

Правда, он еще пытался сохранить себя как личность и ушел в историческую прозу: стал писать историко-литературную монографию «Чулков и Левшин» (1933), историко-биографические книги «Капитан Федотов» и «Марко Поло» (обе — 1936), в 1939-м выпустил в свет сборник статей «Дневник» и в 1940-м мемуарную книгу «О Маяковском».

Через четыре года, в 1949-м, когда шла борьба с космополитами⁶¹, Константин Симонов, который никогда в антисемитизме замечен не был, выступил с утверждением, что «Гамбургский счет» — буржуазная, враждебная советскому искусству книга.

Насчет буржуазная — не знаю, но что «враждебная» — это один из руководителей советской литературы уловил верно.

Сознательно или по «буржуазному Фрейду» повторился *Kunststück* 1930 года. Но за книгу, написанную *двадцать лет назад*, сажать было не просто бессмысленно, а по-дурацки глупо, и Симонов, затеявший эту кампанию, *дураком* выглядеть не хотел и быстро все осознал — Шкловского потрепали на разных собраниях и оставили в покое.

В 1958 году он и Илья Сельвинский отдыхали в Ялте.

Узнав, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Сельвинский отправил новому лауреату поздравительную телеграмму. Но после статьи «Провокационная вылазка международной реакции», появившейся 25 октября в «Литературной газете», вместе со Шкловским отправился в местную «Курортную газету», чтобы присоединить свои голоса к всенародному осуждению. Провинциальная ялтинская газета с радостью приветила москвичей — напечатала отчет⁶² и фотографию (вместе с видным советским поэтом и знаменитым прозаиком и литературоведом пришли мелкие литературные функционеры Б. Дьяков и Б. Евгеньев, в это же время пребывавшие в Ялте). Каждый говорил о своем — нас интересует Шкловский, в расстрельные времена не боявшийся помогать Мандельштаму. Он сказал, что Пастернак выслушивал критику своего «Доктора Живаго», что она похожа на правду, и тут же отверг сказанное: «Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе, в том, куда идет развитие советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».

Шкловский прекрасно понимал, кто такой Пастернак в советской, да и в мировой литературе.

На него, прошедшего огонь, воду и медные трубы, никто не давил, чтобы он присоединился к тем, которым в 20-х вряд ли подал руку.

⁶⁰ Среди участников этой «показательной» экскурсии, кроме Шкловского, были А. Толстой, Леонов, Катаев, Ильф и Петров, Инбер, Шагинян и еще несколько человек.

⁶¹ Читай: с евреями (эдакий советский эвфмеизм, к которому часто прибегали в те и последующие после смерти Сталина годы), как писали тогдашние газеты, «окопавшимися в литературе и искусстве». Очевидно, Шкловский угодил под кампанию потому, что его отец был еврей родом из Умани, а бабушка — автором книги мемуаров на идиш.

⁶² Курортная газета. 31 октября 1958.

Ему, беспартийному, ничто не могло угрожать. Однако сорок лет страха и угнетения настолько въелись в кровь и плоть, что он решил быть правее «папы»⁶³. Но, говорил он, жизнь — как Россия, здесь нет дороги, только направление, и каждый ищет дорогу сам.

Лидия Чуковская, как могла, сухо и внеэмоционально, не оценивая, изложила то, что произошло в редакции «Курортной газеты»⁶⁴.

Вениамин Каверин обвинил своего старого учителя и товарища не просто в страхе, а в «рабском страхе» и поставил диагноз: «распад личности»⁶⁵.

Когда-то Виктор Шкловский написал:

«Нет, говорят, в Отечестве пророка...

Видел карточку (кажется) К. Федина.

Он сидит за столом между статуетками Толстого и Гоголя.

*Сидит — привыкает»*⁶⁶.

Он хотел быть пророком. Хотя бы в той области, которой занимался. Но карточки, подобной фединской, у него не было...

В сумрачный зимний денек 5 декабря 1984 года бывший эмигрант, прощенный советской властью писатель и литературовед, ученый и критик, киновед и киносценарист, угомонившийся скандалист, формалист и некогда возмутитель спокойствия, тихий и недвижимый, лежал на голой сцене ЦДЛ.

Холодный широкий помертвевший лоб отвечивал посреди затененного зала.

Сквозь маску смерти просвечивала «улыбка Будды»⁶⁷.

Так, с этой улыбкой он и прожил всю жизнь.

...На следующее утро в Москве пошел снег, замороженное солнце быстро скрылось за серыми, накрывшими столицу облаками, горожане, как всегда, суетились по своим делам.

Но все это теперь его не касалось.

Его теперь ничего не касалось...

По «Гамбургскому счету» — в литературе: он *был чемпион*.

Про «жизнь» — судить не берусь⁶⁸.

Но разрыв был налицо.

Виктор Шкловский, «скандалист с Васильевского острова», как называл его Каверин, всю свою сознательную жизнь прожил под «советским автобусом» — не так, как хотел, а так, как прожил.

И с молодых лет усвоил, что «когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости»⁶⁹.

⁶³ Люблю Шкловского-писателя и не принимаю поведение Шкловского-человека, понимаю, почему он себя вел так или иначе в той или иной ситуации — в 30-х как и чем мог помогал Мандельштаму, в 50-х продудел в одну дудку с гонителями Пастернака.

⁶⁴ Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 742.

⁶⁵ Каверин В. Эпилог. М.: Московский рабочий, 1989. С. 370.

⁶⁶ Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990. С. 336.

⁶⁷ Об «улыбке Будды», которой будто бы всегда улыбался Шкловский, написал критик Бенедикт Сарнов в предисловии к книге «Сентиментальное путешествие» (М.: Новости, 1990. С. 15). Может быть, именно в этом — не в улыбке Будды, а буддийском отношении к жизни — и кроется разгадка феномена явления Виктор Шкловский?

⁶⁸ Люблю Шкловского. Уточню: писателя. Не принимаю поведение Шкловского-человека. Хотя понимаю, почему он себя вел так или иначе в той или иной ситуации — в 1930-х как и чем мог помогал Мандельштаму, в 1950-х поддержал гонителей Пастернака.

⁶⁹ Цит. по: Березин Виктор. Виктор Шкловский. Молодая гвардия, 2014. С. 152. — (ЖЗЛ).

Шкловский мог бы выбрать эмиграцию и свободу, как его друг Роман Якобсон.

Но он выбрал родину и несвободу.

И поэтому приходилось идти на компромиссы с собственной совестью — и время от времени уступать «автобусу».

Р. С. Чужие берега

После 35 лет пребывания в эмиграции Владимир Набоков найдет точные и емкие слова для определения эмиграции — другие берега. Книга — художественная автобиография — под таким названием выйдет в 1954 году в Нью-Йорке в Издательстве имени Чехова. В 1988 году в Советском Союзе ее опубликует журнал «Дружба народов» (№ 5—6). Отдельным изданием выйдет в издательстве «Книжная палата» в 1989 году.

Но «другими» берега оказались не для всех — о тех, о которых пишу, как и для многих других писателей-эмигрантов, так и не овладевших в отличие от Набокова другим языком и не сумевших писать ни на каком ином языке как на своем родном (это вовсе не в укор автору великого романа «Приглашение на казнь» — разные писатели, разное писательское вещество), берега оказались не столь *другими*, сколь *чужими*.

Мережковские, Тэффи и Ходасевич, не вступавшие ни в России, ни на Западе ни в какие партии, так на *этих* берегах и остались, очевидно не желая идти на компромиссы и — в лучшем случае — уступать «автобусу», в худшем — погибнуть под его колесами.

Бывший участник «эсеровского заговора» против большевистской власти Виктор Шкловский — вернулся. И прожил жизнь так, как прожил.